



1971

1972

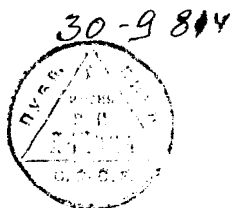
В. Г. Т А Н

СЕВЕРНАЯ ОХОТА

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

1. НА ЛОСЯ
2. ЛЕБЕДИ
3. ГУСИ

*Обложка и рисунки
худ. В. Милашевского*



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1 9 3 1

Т-18

Тип. изд-ва „Дер Эмес“,
Москва, Покровка, 9.
Гл влнт А 80993.
Тираж 25.155 экз.
М. Г. № 4953.
Д - 5.



2010512912



НА ЛОСЯ

(ОЧЕРК)

На лося, на лося!

Павел Шкулев стоит у окошка и палкой колотит по льдине. Льдина, уже остеклевшая от теплого апрельского припека, звенит, как хрусталь. И черная сука Игла скребется в углу и радостно повизгивает и вместе опасно косится на желтые козлы, где возлежит на досках ее повелитель, хозяин и бог, наборщик Абрамка.

Игле полагается спать на дворе, но каждую полночь она открывает искусно лапами и носом тяжелую дверь и забирается в избу неслышно, как дух. Чуть шевельнется Абрамка, она уже на ногах и косится на

Абрамкино лицо. Если Абрамка не в духе и хмурит свои черные брови, и тянется рукой налево к стене, туда, где повешен арапник, смотришь: уж нет Иглы, только дверь откроется и хлопнет. А если Абрамка лежит и зевает, а тем паче улыбнется, Игла тоже ложится на спину и опрокидывается кверху всеми четырьмя лапами. „Делайте, дескать, со мной, что хотите, а я не пойду отсюда“.

— Преступники, вставайте! — вопиет за окошком Шкулев и радостно смеется.

„Преступники“ — наше официальное имя в этой глуши. И даже по-якутски „преступник“, с ударением в конце. Наивные жители Устья, кажется, принимают это за особенный титул. И местный торговец Безмегов пишет нам письма и счета по адресу: „Его высокоблагородию, господину преступнику“ такому-то.

Солнце всходит или, быть может, заходит. Сразу со сна разобрать мудрено. Широкая заря переползает по небу справа налево, ни выше не становится, ни ниже. Крепкий морозец сковал под снегом натаявшие лужи, запечатал ручьи и подернул рассыпчатый снег коркой твердого наста, как струпом.

Самое время итти на охоту. Лыжи за спину, ружья на плечи, вперед... За пояс на-

лево кинжал, браунинг направо. Это милый, старинный, испытанный друг. Он приехал сюда невредимо из самого Курска, разобранный по косточкам, в ящике, вместе с частями от швейной машины. Только желтая одежка его пропала по дороге. Я сделала ему другую из пестрой шкуры тюленя, который зовется по местному „крылатая ларга“. И ларга крылатая, и браунинг крылатый, и все мы тоже крылатые...

Избушки Юлайского Устья—квадратные, плоские сверху, как-будто поленицы дров, занесенные снегом. Круглые трубы заткнуты мохнатыми шапками втулок. Спят домовые хозяйки. Еще ни одна не затопила.

Только из крайних ворот вышла на улицу Дука Шкулева, Павлова родная сестра. Она в черной люстриновой „парке“, с красной оторочкой по подолу. А на шее у нее ожерелок, пушистый и темный, из беличьих мягких хвостов, нанизанных вместе и сшитых. Из-под бровового капора задорно сверкают веселые синие глазки и умильно глядят на Абрамку.

Дука ступила вперед и тихонько заводит девичью песню, лукавую и грустную вместе:

Не сама ли я, девка, глупо сделала,
Свою мил-дружка распрогневала,
Ох, да распрогневала.

Абрамка как-будто не слышит. Он с озабоченным видом переходит взрытую дорогу и сбрасывает лыжи на землю и твердо становится ногами в ременные юкши.

— Го-гой!

Друг за другом идем мы в одну полозницу мягким, широким размашистым шагом, бойко взбираемся вверх на холмы, мчимся, как тени, по длинным извилистым спускам. Абрамка летит впереди. Кто бы подумал, что в этой тщедушной груди и тоненьких ножках таятся такая железная крепость!.. Черный Абрамка как-будто из проволоки скручен. Пойди догони его.

Фаддей забирает налево и тяжело пыхтит, словно разводит пары. Столько он ездил по узким полесским дорогам на своих паровозах, что даже усвоил от них неуклюжую повадку. Полесский паровоз...

— Прибавь, прибавь!

Но вдруг на овраге, забитом доверху, снег проломился под грузным Фаддеем, как-будто под лосем.

— Го-го!

Абрамка скользит, как змея, и на спуске с бугра подпрыгивает в воздухе обеими лыжами сразу.

-- Ловко,—ободряет Павел,—так вот не каждый подскочит..

Павел ходит большими кругами, нагибается к снегу; ищет следов, как собака.

Заяц покотился по дороге, белый и мягкий, как вата. Игла вырывается с лаем вперед и мчится вдогонку. Куда! Не догонишь! Вернись, Игла!..

Ворон сидит на березе и каркает: „Дура“! Ага, ты ругаться!..

Револьвер на прицел... Раз!.. На ходу, без всякой остановки. Черный, обрызганный кровью лоскут мягко падает сверху на снег.

— Ловко!—опять восклицает Шкулев.— Вот это стрелок! И где ты научился?..

— Где научился?.. Не спрашивай, Павел. Это не первую ворону бьет моя пуля, в проходку, на вольной дороге.

— Значит и в вашей Расее они попадают-ся тоже?

— Да, попадают-ся тоже... Отстань, не расспрашивай!.. Озеро—белая скатерть.

Стройся, равняйся!.. Мы поравнялись, лыжа об лыжу. Фаддей посередине, я справа, Абрам слева. Хорошая тройка. Три города, три звания, три племени, три партии, три клички... Но мы из-за клички не спорим. Не тычем друг другу вопросом в глаза: „Какова твоя вера“? Ибо мы нашу веру оставили там, за Уралом. А здесь наша вера;



живи на свободе дико и просто, так, как живут эти лесные звероловы, волки и олени. Огнем своего сердца искры выбивай из холодного камня.

Сливайся с пустыней, как сын и как хищник, и как зверь, и как царь.

Живи, а не можешь — умри!..

Мы движемся быстро, все враз, как-будто по рельсам. Взяться бы за руки, да не достанешь через широкие лыжи.

И Абрам начинает:

— Уже больше года, как я не читаю печатного слова. Вы этого даже не поймете. Меня это слово кормило. Я его складывал с детства, буква за буквой, по копейке за сотню. А теперь эти буквы я вижу только по ночам, живые, огненные. Но я их не складываю. Они складываются сами и выходят слова, те слова, которые мы помнили прежде, а теперь забываем.

И Фаддей откликается басом с своим характерным акцентом:

— А по-цо-жь его помнишь? Там цо было — каторга. Тут воля. Хцешь, так до свету вставай, хцешь, так спи. Никто не неволи. Цо ты, Михайло, милчишь?

— Я помню...

Это меня называют Михайлом, Михаилом Куржинским. Я тоже немного наборщик, и даже

Машинист, хотя и не профессиональный. Набор мой хранится за красной печатью в числе доказательств судебного дела. Машина, с которой я ездил два года, спятила с рельсов и угодила в яму... Был я рабочим бродячего цеха, но все наше братство исчезло и растаяло, как дым... Но я ничего не забыл, помню каждое слово и каждое дело, и каждую ошибку. И, если угодно, готов повторить любую еще раз... Любую ошибку, пускай...

Павел Шкулев забирает то вправо, то влево, не хуже Иглы. Лыжи его как-будто не лыжи, а так себе, природные подошвы, только немного пошире.

Нос у него длинный, так вот и морщится, втягивает воздух. Забавно смотреть. Гончая какая-то, совсем не человек. А очи большие, свирепые, круглые, как-будто у орла. Подобно орлу, Павел Шкулев не любит мертвечины. Он не ставит капканов, не строит бревенчатых ловушек. Его зажигает живая добыча. Он берет ее с бою ножом или пулей.

Олени и тюлени, медведи и моржи, и и рыси, и лоси,—чем крупнее, тем лучше.

Много добывает Павел и мяса, и шкур, да только одна у него слабость: девицы. Оттого сердце у него полное, а карманы пустые.

Не даром певец Волокуша сложил про него насмешливую песню:

Павел любит девку Машу
Хоть чужую, хоть и вашу.

Его колотили за это и в Устье, и в Ключах. Дескать, не зарься на всех. А ему все неймется.

Вот и теперь он перестал выписывать зигзаги. Шагает рядом со мной и тихонько мурлыкает:

По три мыла перемывала
По три юбки переменяла...

Это описание неслыханной роскоши относится к Маше Белобокой, одной из тех многочисленных Маш, о которых поет Волокушина песня.

— Что не нашел ничего?

— Теперь до Девичьего леса не будет ничего.

— Какие еще девки?

— Вольные девки, которые в лесу живут.

— Цо ты сплетаешь?—гудит недоверчиво Фаддей.

— Не спорь,—возражает Шкулев,—старики говорят.

— Старики,—повторяет укоризненно Фаддей.—А сам ты не видзел?

— Сам видзел,—серьезно возражает Павел. Это совсем не насмешка над странным акцентом Матвея.

Павел ловит из наших речей каждое новое слово и каждый оттенок и тотчас усваивает, и даже других заражает.

Девицы на Устье стали выговаривать: „блото“ и „перог.

— Видзел,—повторяет Павел,—белые они, как береза, и волосы длинные, как мох.

— Постой, Павел,—вмешиваюсь я.—Вольные девки в лесу... Ты расскажи по порядку.

— Вольные девки такие, от здешнего корня. Которые русским не схотели покориться,—об'ясняет Шкулев.

— Было это в досельное время, когда еще Ермак завоевывал Устье. И жили здесь люди, и звались они „ванцы“. У них были стрелки по пальцу, а копыа по целой березе. Жили деревнями. Но только в деревне из всех домов была у них одна крепость, сто сажень длиною, и из всего народа одно семейство. А правила старшая девка... Пищи у них было довольно. Парни по осени оленей набьют и домой принесут, у порога сбросят. А девки колдуют. Мясо обрежут, а кости на утро опять обрастают. Да так и до лета. Вот русские пришли. Ванские парни стреляют этими стрелками. Чего там будет?

Побили их до смерти. Пришли к этой крепости ванской, а там девки сидят. Ермак и говорит: „Вы нам покоритесь. Мы безженные люди. Вас в жены возьмем“. А старшая девка вышла на крышу, вынесла лук и вертушку и стала огонь из доски вытирать на русскую сторону. А искры-то летят не на русских, а на ванцев. Вспыхнула крепость. Тут девки распростонали, выпустили белые крылья и улетели на полнось...

— Выпустили крылья,—соображает Абрамка.—А, может, то были чайки?..

Трезвая голова...

— Не чайки—стерхи,—поправляет его Павел невозмутимо.

— Что то стерхи?—спрашивает Фаддей.

— Stork, — переводит всезнающий Абрамка.—Ну, bosian по-твоему.

— Каждую весну мимо Юлайского устья пролетает отряд длинноногих и белых аистов, направляясь на полночь. Кто знает, может, и вправду это превращенные ванские девки.

— Куда же они полетели?—спрашивает Абрамка задумчиво.

— Они полетели за море. На Вирий, да хватились, что у них пары нету, то пали, пали на землю.

— А где это Вирий?

— Вирий за морем. Там птичьи люди живут. Парни стреляют из крыльев пернатыми стрелами, а девки такие красивые, как Зорины дочки.

— А Зорины дочки красивые?

— А ты не слышал поговорку,—возражает Павел,— „Заря-Зореница, красная девица, огненным крылышком всю землю обовернули“.

— Вот и живут они в этом лесу на деревьях и сами — деревья. А развертываются девками, приманивают пару. И какая приманит, сейчас обернется стерхой и его обернет. И тогда улетают на Вирий...

— Как еще тебя не обернули?

— Обертывали летось,—серьезно объясняет Шкулев,—да видно, до конца не довернули. Ты слухай. Обранил я оленя на реке Кисловке, а он—сюда. Я за ним, да двое суток не спавши и гнал, как солнце бессонное. К этому лесу пришел, совсем потерялся олень. Так мне бедно (обидно) стало. Присел я под кустом, не пивши, не евши. Вижу: три стерхи летят мимо. Позавидовал я стерхам. „Как же,—говорю,—вам легко летать, а мне и побегивать трудно“.

И вспомнил из песни:

Гуси, гуси, лебедушки,
Молодые молодухи,
Уроните мне по перышку...

— Ну и что же?

— Да видишь: до конца не довернули, — наивно объясняет Шкулев.

Он не хочет рассказывать дальше. К чему? Ведь вышла неудача...

— Стерхи, девки, — ворчит недовольно Фаддей, — а есть ли там лоси?..

— Фью? — присвистывает Павел. — Там всякая живность есть. Вот сами увидите.

— Вот там еще озеро Курье, а дальше и Девичий лес, — указывает Павел.

Игла насторожила ухо и вытянула морду, потом слабо взвизгнула и бросилась вперед,

— Игла, назад! — Назад итти на обход, дугою вдоль берега. А она не слушает, летит, воздух пронзает своим длинным вытянутым телом. Впрямь игла. По земле расстилается и лает тихонько, прерывисто, зло.

— Скорей! — говорят эти острые звуки.

— Скорей, уйдет...

— Господи, неужели она взяла дух лосинный за десять верст, через озеро Курье?

Летим, как бешеные, по льду. Абрамка и Павел опять впереди.

— Наддай-ка, Фаддей, а то мы и к жаркому опоздаем!...

Глаза вылезают на лоб. В груди свистит. Лыжи как-будто мешают бежать и волочатся сзади... Наддай, наддай!..

На льду впереди показались две черные точки. Что это, олени или лоси? Нет, эти поменьше. И головы без поперечной черты, — значит, безрогие.

— Волки, — бросает Шкулев на ходу.

Мчимся наискось, чтобы перенять им дорогу. Вот они стали поближе. Мне кажется, будто я вижу их ясно. Волк и волчица, высокие и худые. У них кровавые очи и слюнявые пасти. Головы низко пригнулись к земле. Бегут, принохиваются, видно за дичью по свежему следу.

Фаддей снимает ружье с плеча.

— Не стоит, оставь. К чему нам эта па-
даль?

Волки подняли головы вверх. По ветру доносится тонкая жалоба.

— Спасибо, господа волки, за вольную подмогу. Прощайте покамест!..

Волки исчезли, как призраки. Вот он — след. Какой он глубокий, раскидистый! Местами сквозь снег ветвистые ямы доходят до самого льда. Одни потемнели от рижней воды, другие подкрашены кровью. Павел нагнулся и взял горсть мокрого снега из ископыти.

— Свежий, сейчас прошел. Направо, айда!..

След поднимается в гору, в кусты, в частый и мелкий подлесок. Сквозь чашу про-

бита дорога, бешено, слепо и прямо, как будто по шнуру. Влево и вправо размотаны сломанные елки и березки. Сломаны как будто ураганом, срезаны крепкой сталью, но только местами, на свежих изломах,—красные пятна.

Видно, живая бегущая сталь, расчищая дорогу, сама трепетала от боли.

Кочкарник, широкое поле. Опять перелесок.

Луга мертвые, занесенные снегом. А это должно быть уже Девичий лес. Прямые березы похожи на белые свечи. Кто их расставил так чинно и стройно? Царапин нет на белой блестящей коре. Вершины кудрявятся сетью разбухших побегов в предчувствии зеленого расцвета.

— Дайте дорогу нам, белые девки! Отдайте добычу,

Лает Игла налево в густом ивняке и визжит, и захлебывается, и громко зовет:

— Сюда! Сюда! Я нашла! Я догнала!..

— Прибавь-ка, Фаддей!

Фаддей вылетает вперед, огромный, грузный и страшный, и мчится по узкой тропинке тоже, как лось, только рогов у него нет.

— Го-го-го! — зычно и грозно раздается его крик.



Вот он, лось. Он высокий и серый, как лошадь в оленьем убранстве, и голова у него, как толстый березовый корень, и лопаты рогов о шестнадцать копьях, как две боевые машины... Увяз по колено в снегу, а задом прижался к рогатому пню и морду нагнул до земли, и в диких глазах светится ярко и мрачно: „Ну-ка, сунься“.

Злится, заливается Игла, бегают кругом, светится, проваливается в ямы, а близко не подходит. Она не торопится узнать, какие у лося копыта. Только круги замыкает то слева направо, то справа налево. Пробежит за спиной у добычи и твякнет: „Дескать, не думай уйти. Я тут стерегу“...

Абрамка хватает винтовку на руку. Раз! Мимо!...Лось стоит, как вкопанный в землю, не пошатнется, как каменный.

Павел гогочет и медленно прикладывается из своей кремневой пищали.

Она—английской работы и клеймо на ней: „Лондон, 1820“. Павлу досталось от деда. Еще десять лет— и можно справлять ей столетний юбилей.

Сколько лосей и моржей она перебила, а сама все живая.

Ствол у нее легкий, как дудка. Игрушечное ложе. Мелкие пули, как пчелы. И выстрел не громкий, словно хлопучка ударила.

— Не трогай!

Фаддей поворачивается к Павлу и яростно кричит и машет рукой.

— Чего ты, леший?

— Не трогай, убью!

Даже лицо у него потемнело, как-будто чугунное. Вправду, леший.

— Четверо вас, — рычит Фаддей. — Пся крев. Надо итти одному...

Он снимает ружье и бросает на землю, и выходит на лося с голыми руками один. Лось ждет и дико косится огромными сверкающими глазами.

— Оставь, сумасшедший! — встревоженно кличет Павел. — Поистине безумие — приблизиться на лыжах к ужасным лосиным копытам.

— Не трогай! — рычит Фаддей. Он весь как-будто изменился и сделался мягче и гибче. Каждое движение стало точно рассчитано и как-то неуклюже грациозно. Этот домашний медлительный буйвол вдруг превратился в лесного медведя.

Лось ждет. Он выпятил нижнюю губу. И глаза его стали как-будто другие, упрямые, тупые. Фаддей резко под'езжает концами лыж под огромную морду, протягивает руки и хватается за страшные рога. Это будет как встреча лигийского Урса с туром. Где обитали лигийцы? Быть может, в Волынском

Полесье? Та же фигура и те же ухватки. Урс, пожалуй, придется Фаддею прадядя...

Фаддей утверждаетсЯ крепче на лыжах и тянет. И вдруг, как-будто по сигналу, огромная туша тяжело валится на землю.

Вскидываются крепкие ноги, как четыре живые ствола. Пуля Абрамки добралась до жизни, да только не сразу проела дорогу сквозь крепкую грудь.

— С полем!—поздравляет Шкулев, насмешливо кланяясь.—Абрамка, с тебя магарыч.

По правилам охоты удачливому стрелку достается голова и звериная шкура.

— Куда мне ее,—отмахивается Абрамка.

— Дуке отдашь на постелю,—усмехается Павел.

Так начинается в Устье сватовство. Женых уходит в леса и приносит оттуда невесте лучшую шкуру добычи своей на постелю.

Огромное солнце садится и тает, словно сгорает в пылающих волнах.

Заря-Зореница опять протянула по нему огнистое крыло. Небо и снег, и деревья, и воздух отсвечивают алым.

Господи, как мы устали! Скорей костер...

Павел хлопочет над тушей. Фаддей выворачивает с корнем сухие деревья.

Дымно багровым столбом встает наше пламя под розовым небом.

Почки, сердце и печень—на шомпол в огонь. Над трупом огромной добычи вместе с Иглою мы пируем как-будто каннибалы.

Бесшумно и странно и чутко подходит апрельская ночь. Огненные перья на крыльях зари становятся темно-густыми, и воздух как-будто наполнился пеплом, оброс паутиной, дымчато-алой, и легкой и нежной. Садится на глаза паутина, алая дрема немеркнувшей ночи нисходит на девственный лес.

Костер наш навален рогатой стеной. Мы не взяли с собой ни постелей, ни шуб. Сегодня огонь нам заменит и постели, и шубы. На грудах нарезанных веток Фаддей протянулся, как громом убитый. И Павел свернулся клубочком, как еж. Пылают сухие стволы. Кедровые шишки с треском взлетают, как-будто ракеты. Огромное пламя журчит, как вода, и поет, и сверкает цветным переливом.

— Не спишь, Абрам?

Как угли сверкают большие глаза.

— Да, не сплю. Все думаю.

— Брось! Ненужное дело. О чем же ты думаешь?

И Абрам подпирает рукой подбородок и тихо отвечает:

— Я думаю жениться...

— Жениться? Зачем? Ведь мы—перелетные птицы.

Он поднимается, лежа на локте, и шепчет печально и тихо:

— Летели, летели, да сели. Теперь будем вить себе гнезда, как лебеди вьют...

Басом храпит утомленный Фаддей, и с тонким присвистом подхватывает Павел. Вот это беззаботная птица. Не лебедь—кукушка. Кладет свои яйца в различные гнезда и весело смеется.

— Но ты отчего так печален, мой лебедь, курчавый и черный? Спи, Абрам!.. А помнишь поговорку: „Женишься — переменишься“?

И он отвечает, как прежде, печально и тихо:

— Уж я переменялся.

Все глубже в'едается пламя в еловые бревна. Квадратные угли ссыпаются в груды, как яркие камни, и молча сияют глубоким и тихим сиянием.

Спит Абрам. Курчавую голову на руки уронил. Пусть ему Дука приснится с задорными глазами. В землю воткнулась Игла и дремлет, и твякает слабо сквозь сон. Быть может, душа ее гонится снова за призраком мертвого лося.

Я только не сплю да белые березы. Они подступают все ближе и ближе и кивают кудрявой вершиной и о чем-то скрипят тихонько и лукаво.

— О чем вы скрипите, березы?...

— Пару... Любую... На выбор...

Нет, отойдите, мне пары не надо. Была моя пара. Такая же вольная девка, и так же, как вы, она не хотела смириться, и когда встало над ней губительное пламя, крылья ее не развились, и она потонула, как искра.

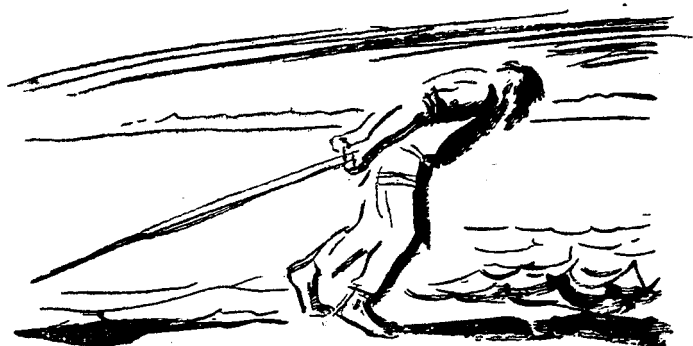
Но вот она снова всплывает в огне, живая. Суровым призывом горят ее очи. И белое платье запачкано кровью...

Я знаю, чего она хочет, чему она учит...

Я помню...

Отстаньте, березы!..





ЛЕБЕДИ

(из очерков полярной охоты)

Они белы, как хлопья снега. У них черные ноги и длинные шеи. И когда они кличут, как-будто кто-то трубит в большой серебряный рог:

— Кугу, кугу, кугу!..

Милые лебеди. Я видел их близко весной на реке, перед самым ледоходом. Они плясали на льду свои первые брачные пляски и тихо трубили, как-будто воркуя, и обнимались широкими крыльями и заплетали друг другу за плечи свои белые змеинные шеи.

Река уходила прямо на север, как зеркало льда, нагое и жесткое. И полуночное солнце горело, как круглый костер на краю гори-

зонта и заливало алым светом льды и пески, и полоску воды у самого берега. Все пылало, и лебеди порозовели, как-будто горели от зноя пылкой, весенней любви.

Льды прошли, и лето настало, потом покатило на убыль. Мы идем по берегу на лебединую охоту и тащим за собой свои тяжелые лодки. Все мы впряглись в бечевку, собаки и люди. Все мы босые, и на прибрежной тине рядом остаются отпечатки следов—собачьи, круглые с когтями, и наши, с широкой подошвой, как-будто медвежьи.

Полдень теперь или вечер, мы не знаем. День долог, солнца нет, и на небе серая дымка. Светло, тихо. Река течет по илистому дну лениво и густо, как масло. Кругом безлюдно, безжизненно. На голых берегах ни дерева, на реке ни птицы. Только песцовые „пасти“, ловушки из бревен, там и сям поднимают свои длинные устья. Они похожи на старинные развалины. И кажется, будто в этой светлой пустыне мы одни живые.

Три лодки у нас и три бечевы. Первую лодку ведет Федюшка Киричонок. У него резвые собаки и проворные ребятки, все на подбор молодые.

Они убегают вперед и весело гикают, и уходят за поворот плеса.

Нам их не видно.

Вторую лодку ведет Васька Дауров, казак, маленький, злой и удалой. Лицо у него рябое и серьга в ухе. Рядом с ним выступает Яков Мальцев, толстый мужик, рыжий и жадный к еде.

Зовут его по-уличному Протолкуем. В прошлую зиму он с'ел на спор сорок сушеных рыб и вместо чаю выпил полведра рыбьего жиру. После того его два дня несло, как несет медведя.

Третью лодку ведет Мишка Ребров. Старый Матвей Атыкан как-будто присох на корме. Он весь как мумия, обтянутая замшей. Он сжал кормило пальцами рук, костлявыми, как у скелета.

Мишка Ребров налегает широким плечом на ременную ляжку, и лодка вздрагивает и зарывается носом. Мишка еще налегает и весь нагибается и взвизгивает. Собаки, идущие с ним, тоже взвизгивают и вытягиваются, и рвутся вперед, хватаясь за землю когтями. Они бегут по берегу и тянут, и визжат. Нельзя разобрать, где человеческий голос и где собачий.

На повороте, за плесом, на низком взгорье, горит огонек. Костер крохотный, сложен из тонких палочек, будто игрушечный. Пламени не видно, только шнур дыма уходит к небу, тонкий, прямой и кудрявый, как-будто рас-

сеченный кверху. Перед костром сидит человек в потертой рубахе из оленьего меха. Он держит перед собой кремневое ружье, упертое на сошки. Сидит неподвижно, нагнулся вперед, и палец у курка.

Эка, леший! Это Нуват, полевой пешеходец. Во что он метится? Нигде ничего не видно. Он как-будто заснул над ружьем

Нуват — великий охотник. Лето и зиму он бродит по тундре пешком, с ружьем за плечами. В сумке у него порох и кремни, и трут, нож у бедра, топор за поясом. И больше ничего. Даже собаки у него нет. Он не знает устали, ходит кругами и петлями вместе с диким оленем, выхаживает в день верст по сто.

Застрелит оленя, вырубит яму в мерзлой земле, мясо положит в яму, дерном прикроет, еще и метку поставит, сам пойдет дальше. Добрые люди потом приезжают и находят, и воруют. Многие русские казаки едят это мясо и славят бога.

Над ним смеются, говорят, что он всю пустыню ископал своими погребками. Что бы ему заодно вырубить погреб побольше да и таскать с собой с места на место!

Нуват чукотского рода, но хорошо говорит по-русски. Ничего у него нет, ни чаю, ни сахара, ни ситцевой рубахи под его ме-

хойвой одеждой. Он весь в долгу у встречного и поперечного. Дикий олень тоже у всех в долгу. Кто поймаёт, тот и шкуру спустит.

Я встретил его однажды в поле. Был дождь и ветер.

Он забрался в огромную грудку наносного леса, развел огонь, снял одежду и уселся голый. Со всех четырех сторон он обложил себя кострами, сидел и дымился от пара...

Мы всходим наверх и подходим к костру.

Нуват не спит. Глаза его широко раскрыты. Рука закована на узком ложе ружья. Весь он как деревянный.

— Нуват, чего ты?

Он поднимает голову и смотрит на нас тусклым, стеклянным, бессмысленным взглядом.

— Уйдите, убью!..

— Ты на кого, сатана?

Он долго молчит, и взгляд его постепенно яснее.

— Духи, — говорит он или, скорее, шепчет, — Кишат, мочи нет.

Вот отчего в этой пустыне так тихо и так странно. Духи кишат кругом и носятся без ветра, и подступают незримые в каждой струйке тумана, что поднялась над рекой.

— Кругом духи, — шепчет Нуват, — в земле и в воздухе. Рыщут, крадутся. Я в него мечу, а он в меня.

Не знаю только, какие это духи. Покойники, должно быть. Непогребенные с тундры и утопленники из океана. В прошлую зиму молодой Кулдаренок с зятем своим утонули во льдах на тюленьей охоте.

И наши тут есть, все добровольные, ибо для наших здешняя жизнь не лучше смерти. Эдельман утопился, и Гуковский застрелился, и Калашников поднял на себя руки от несмываемой обиды. Призраки их тоже, быть может, перелетают через пустыню, с востока направляются на запад...

— Покойники приходят, — говорит Нуват. Он как-будто прочитал мои невеселые мысли.

Васька Дауров нагибается и жадными глазами смотрит в лицо Нувату.

— Кто приходит к тебе?

— Жена приходит. Волосы распустит длинные. Чешет их гребнем. Смотрит в лицо, только словами не говорит.

Нуват недавно был хозяином и женатым человеком, но ему не было счастья в женах. Первая жена была старше его, по отцовскому выбору. Она умерла от заразы. Вторую жену не хотели отдавать за него. Он выкрал ее из дому. В ближайшее лето она вышла

из шатра в поле собирать коренья и с тех пор не возвращалась. Говорят, что родители в гневе заколдовали ее разум. Быть может она утонула или заблудилась. Нуват бросил шатер и пошел на поиски.

С тех пор он ходит по тундре и не возвращается домой.

— Я ли не любил ее, — шепчет Нуват. — Увижу — ум теряю. Реки перебрел, чтобы увидеть ее. На руках ее переносил, чтобы она не замочила ноги.

— Брось, не думай!

Он подымает голову и говорит с испугом:

— Не покидайте меня. Возьмите меня с собой...

— Полно тебе, притча. Уймись, ненашинская!.. Идем с нами на лебединую охоту!..

Озеро Седлы лежит в самом сгибе каменной гряды Едомы. С трех сторон у него ржавое болото, а с четвертой — бурый кряж, высокий и ровный, как вал. В своей темной рамке оно лежит широко и округло, как светлая чаша.

На озере лебеди. Они разбросаны далеко кругом, как белые клочья, как-будто кто бросил сверху горсть пуха, и она рассеялась по ветру и упала на воду.

Дальние белые лебеди, мы сделаем вас нашей добычей...

Тихо мы подползаем с разных сторон к синему озеру, так тихо, — сами себя не слышим. Как-будто лисица в траве. Сделаем шаг и замрем, и ждем, и глядим, не началась ли тревога, ибо лебедь — царь-птица северной тундры — всегда настороже. Только услышит малейший шорох, встанет на длинных ногах, вытянет шею и глянет, и вдруг сорвется с места — и поминай, как звали. Уйдет в болото, нырнет в „зыбун“ с головой, только кончик черного носа выставит наружу и дышит незаметно.

Пройдешь над ним и ничего не заметишь, — разве сам провалишься туда же.

Вот, наконец, подползли. Ближе, все ближе. — Пора, выскакивай, братцы! Го-го!

Федя и Ванька Чукчонок забегают с болота. Слышно, как шлепают их ноги в ржавой воде: хлюп, хлюп, хлюп!

Ванька Ухват и Зиновий, и сука Белуга взбегают на каменный кряж и бегут по краю, над самой водой. Я бегу вслед за ними и забираюсь наверх, на гребень гряды.

Преодо мной открывается великолепная картина. Ровная тундра, как стол, изрезана множеством протоков, вся усеяна озерами и зелеными травянками, заросшими осокой. Из озера в озеро проходят речные переузья, и нет нигде ни кустика, и все вместе похоже

на географическую карту, вышитую синим шелком на ржаво-зеленой скатерти.

Под ногами моими стелется гладкое озеро, и с правой стороны дальний конец чуть всплывает в сизом тумане. И с левой стороны из каждого узкого затона выскакивает пластина лебедей и бежит по берегу лентой, норовя перескочить на другие озера.

— Федя, прибавь!

Челноки наши уже спущены на воду. Гребцы напрягаются, стараясь обогнать лебедей и отбить их от берега. Васька Дауров творит чудеса.

Его челнок ныряет, как рыба, вьется вправо и влево, как водяная змея. Он калится водой до половины. Васька в азарте гребет, сгибая весло, весь мокрый, как утопленник.

Целый день было туманно, но теперь туман разорвался и выглянуло солнце, низкое, ночное. Лебеди рассыпались по озеру, как клочья пены. Они плавают то по одному, то шеренгой штук в восемь или в десять.

Тихо на озере. Челноки скользят мимо, как тени. Только узкие лопасти поблескивают на солнце.

Молодые ребята гоняют по одному лебедю вдоль всего озера.

Васька Дауров ездит у стада, стараясь сбить его теснее.

— Сюда, сюда гребите! — несутся по воздуху его хриплые крики. — Федюнька, гони в груды...

Мало-по-малу челноки собираются вместе, сбивая лебедей. Только упрямый старик Атыкан гонит пластину, лебедей в десять, на верхний конец озера, хотя следует гнать сюда, под заветерье.

— Старик, старик, вернись!

Но старик не слышит.

— О, старый чорт! Федюнька, догони его и опрокинь прямо в воду!

Вот и старик повернул, и лебеди в груды. Их всего штук полтора-два или двести; но они сбились так тесно, что кажется, будто их мало. Их длинные шеи тянутся вверх, как ровные белые стебли, и головы их, как странные цветы, как-будто вода поросла стеной лотосов, цветущею, живою.

У тех двоих над белоснежной грудью шеи темнее и тоньше. То прошлогодние слетки. Они меньше и грациознее.

Отдельные лебеди вырываются из круга и, подплывая к Едоме, быстро поднимаются наверх и быстро убегают прочь. Они странно белеют на буром камне, поросшем коричневым мхом.

Тот или другой из сторожевых челнов летит вдогонку, стараясь отрезать беглецу

дорогу. Лебедь, тревожно кликая, бежит по воде, толкаясь черными ногами и помогая себе крыльями.

Челнок наезжает, но верткого лебедя трудно убить. Он круто поворачивает в сторону, и челнок пробегает мимо.

Вот лебедь выскочил на берег прямо под мной и стал подниматься на кручу. Я ждал совершенно неподвижно. Он остановился. Глаза у него были круглые, дикие, и белые крылья распустились и обвисли. Он отдыхал на скале, тяжело дыша, как человек. И вдруг он повел глазами и увидел меня, и тотчас же метнулся и пустился по серому камню, хлопая крыльями и задыхаясь от усталости. Я почти настигал его, но он бросился с обрыва в озеро и упал грузно, как мешок, растопырив крылья и ноги. Мишка Ребров тут же наехал и поймал его рукой за голову, и сломал ему шею у первого позвонка, и бросил его на воду, как рыхлую связку белых перьев, и поехал дальше.

Через минуту другой лебедь поднялся на гору немного подальше. Он был моложе и, наверное, ушел бы. Но белая сука набежала и бросилась и тотчас же отскочила. Он встретил ее сильными ударами крыльев и ног. Я стоял и смотрел на их единоборство. Белуха бегала кругом и старалась напасть сзади.

Но лебедь вертелся так быстро и шипел, подставляя ей свои крепкие черные лапы. Еще раз — и опять неудачно. Белуха рассердилась, с визгом бросилась вперед и сцепилась с лебедем. Оба покатались по земле, как белый клубок, и когда Белуха опять отскочила, лебедь лежал с перекушенным горлом и судорожно хлопал крыльями.

Огромное гусиное стадо, тысячи в три или больше, разбившись пластин на десять, плавало взад и вперед по озеру, но охотники не обращали на него внимания. Они загнали лебедей в узкий залив, куда с обеих сторон уже прибежали подростки с собаками. Я сошел вниз и побежал туда же по песчаному мысу подгорного берега. Залив был, как западня. Лебеди стали смирнее и, сбившись в кучу, плавали взад и вперед и жалобно кликали;

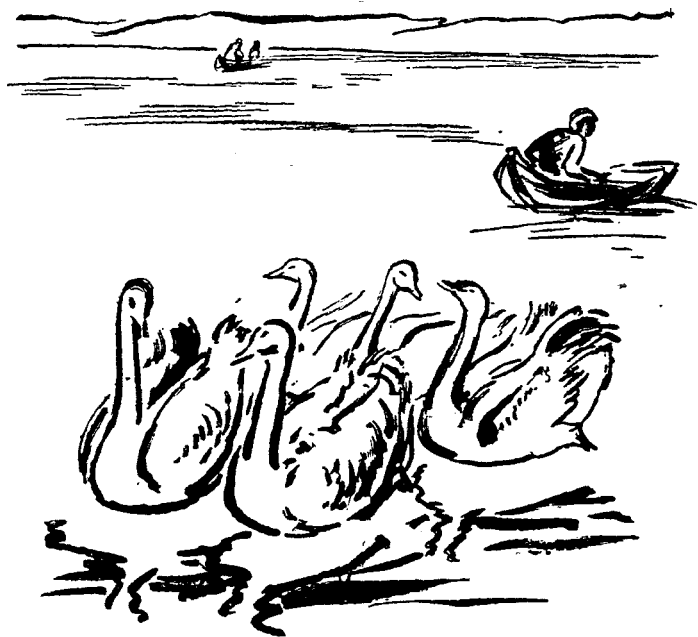
— Киги, киги, киги!

Люди, челноки и собаки окружали их со всех сторон и не давали им отбиваться в сторону.

Лебеди сжались так тесно, что казалось, будто плавает белый ком, остров лебяжьего пуха, из которого выросли длинные белые шеи, плавают взад и вперед и кличет неустанно:

— Киги, киги!

Солнце снова исчезло, и тучи сгустились, стало темнее. Поднялся сильный ветер, и брызнул дождь. По озеру забегали волны с



белыми гребнями. И вдруг далеко впереди, за грудой наносного леса, затеплился и, ярко разгораясь под ветром, засиял и забрызгал огонь. То Протолкуй обвел лодку по узкому

протоку, разбил становище и кипятил воду для чая.

Теперь начинался второй акт лебединой охоты.

Один челнок стал настороже, переезжая устье залива от края до края. Другой нажимал сзади и гнал лебедей.

Они протянулись длинным и узким клином. И вдруг быстрым поворотом челнок врезался в стадо и отрезал голову клина, пять лебедей, и выгнал их вперед на вольную воду. Стадо осталось в заливе. Каждый челнок, кроме сторожевого, наметил себе лебедей и помчался в погоню.

Это было красивое, странное зрелище. Охотники гоняли лебедей по всему озеру взад и вперед. Лебеди хлопают крыльями, пока стволы маховых перьев не нальются кровью, тогда опустятся крылья, лебеди становятся тише и начинают нырять.

Первого лебедея загнал Васька Дауров. Он наехал на него как на поныре, закинул ему лопасть весла на шею, подтащил к себе и тотчас же опрокинул на спину и сломал ему шею у самого затылка.

Второго лебедея он не успел опрокинуть. Лебедь вскочил в челнок и залил его водой чуть ли не доверху. Ваське пришлось пристать к берегу, чтобы вылить воду. Он сту-

чал зубами от холода и злости. И тотчас же схватил весло и умчался обратно...

Еще раз. Новые пять лебедей вышли на волю, и опять начинается гонка. Это как в цирке или на гипподроме. Люди и птицы мчатся по водной арене, как-будто на приз.

Люди догнали. Раз, раз, раз! Все лебеди мертвы и плывут по озеру вверх брюхом, как белые мешки.

Мишка Ребров показывает искусство высшей школы. Он гонит двух лебедей сразу. Они плывут вместе; должно быть это самец и самка.

Самец большой и красивый. У него отметина — темное кольцо кругом шеи, как галстук.

— Обоих возьму! — кричит Мишка ликуя и разгоняет челнок.

Лебеди ныряют, — один вправо, другой влево. Челнок пробегает вперед.

— О, черти!...

Лебеди опять вместе. Та же погоня и тот же успех. Лебеди вместе.

Мишка скрежещет зубами и вдруг бросает весло и начинает выть от злости на все озеро.

— Сволочь, убью!

Он разгоняет челнок слепо, не глядя, и вдруг поворачивает влево.

— Ага,—шипит он сквозь зубы,—попался!..
Белый труп всплывает рядом, как-будто покойник в саване. Это лебедка.

Другой лебедь тоже поворачивается и тоже шипит, и вдруг бросается навстречу.

Он бьет крыльями и вскакивает в челнок. Еще минута и Мишка будет в воде.

— Зубами заем!

Мишка протягивает руку, хватая лебедя за голову и одним взмахом выкидывает его наружу. Шея у лебедя сломана. Мишка хватается его опять и встаскивает назад и начинает с остервенением грызть его мертвую голову.

— Не тронь!

С берега несется дикий крик. Нуват беснуется и топает ногами о землю. У него нет челнока. Он вместе с пешими и не принимает участия в охоте.

— Чего ты, мечта?

Мишка даже останавливается от изумления. Но Нуват уже опомнился.

— Так, в сердце вступило,—говорит он с застенчивой улыбкой.—Брось лебедя, Миша...

Лебеди плавают кучей и жалобно кличут. Их все меньше, и жалоба их тише. Последнюю шестерку охотники расхватили на-ура и тут же убили в три-четыре минуты. Последний голос оборвался:

— Киги!

Во всех концах плавают лебединые трупы и смутно белеют. Иные прибились к берегу. Другие качаются в волнах. Озеро молчит.

Мы всех умертвили, и опять в этой пустыне мы одни остались живые.

Мы вышли на берег и стали собирать лебедей и связали их попарно, шея за шею, взвалили на шесты и понесли к ночлегу.

Нуват связал вместе большого лебедя с серым кольцом на шее и его лебедку.

— Жили парой! Пусть после смерти будут тоже парой...

Два часа таскали в сумерках тяжелые трупы. Перед кострами своими мы навалили их, как гору. И сели у огня и стали сушить одежду.

Матвей Атыкан закурил свою трубку и сказал задумчиво:

— Трех лебедей я убил. Спасибо вам, ребята. Это мои последние лебеди. Знаю, на будущий год мне уж ходить не доведется.

Ребятки уселись все вместе. Ванька Ухват рассказывает длинную сказку о Морском Скакуне и о лебединой женке:

— Вот свекровка говорит невестке: „Поди потрох чистить“. — „Не стану я. Одежда моя белая. Пища моя—трава да коренья. Боюсь я крови“.

Пурх—улетела.

— Ох, ты!—говорит Морской Скакун, —
женка моя заколдованная...

... Пошел Морской Скакун на степные озе-
ра. На озере плавает лебедь, такая же
белая...

Нуват сидит у костра и смотрит на огонь.

— На озере Олерском я видел лебедь...—
заговаривает он нерешительно.

Он говорит, обращаясь не к людям, а к
огню.

— Она плавала одна, ныряла, купалась,
как человек. Стал я красться, а она смот-
рит на меня и только словами не говорит.

Мы молчим и слушаем.

Какая странная мечта живет в его сердце,
диком и унылом...

Он замолкает и долго пристально глядит
на огонь.

— Лебедь моя,—говорит он чуть слышно...

Лебеди лежали и не шевелились, только
ветер раздувал их мертвые белые перья.

Лебедь с серым кольцом и его лебедка
лежали с самого краю. Их шеи сплетались,
и головы касались, и при неверном свете
костра казалось, что они целуются и после
смерти.

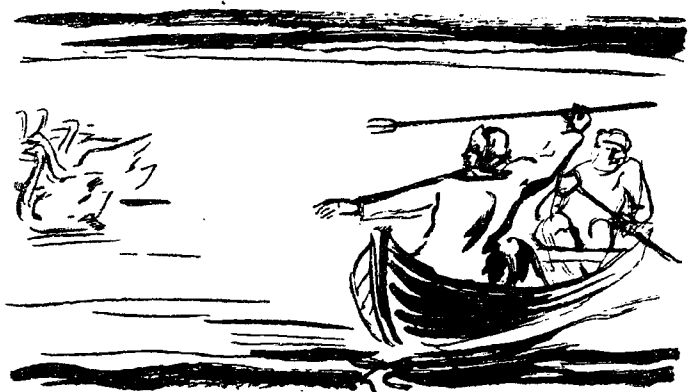
Мы прикрыли лебедей хвостом и легли
спать.

И проснувшись к полудню, мы увидели, что у крайней пары расклеваны головы и выедены глаза. Это сделали чайки. Большой лебедь и его лебедка пострадали вместе и после смерти.

Мы изрубили на части эти два лебединые тела и сварили в котле. Остальное сложили в лодки и отправились обратно...

С.-Петербург, 1908.





ГУСИ

(ИЗ ОЧЕРКОВ ПОЛЯРНОЙ ОХОТЫ)

Три дня мы пробирались по узким протокам от озера к озеру на тундре, у берегов океана. Мы шли в лодках и челноках. Нас было шестнадцать человек: десять взрослых и шесть подростков; и три собаки. Мы шли на охоту за лесными гусями.

В летнее время тысячи и тысячи уток, гусей, лебедей падают на тундряные озера. Они линяют, теряют из крыльев маховые перья, прячутся в траве и жиреют. Осенью, когда крылья отрастут, они собираются в

стада и готовятся к отлету. В конце июля, перед под'емом, птицы приходят к озерам люди на легкую и вольную охоту. Они убивают сотни лебедей и тысячи гусей, увозят полные лодки и остаток прячут в ямы под мох, до зимней дороги.

Лодки наши были сшиты из досок древесными корнями. Челноки были стесаны до толщины картона и так легки, что каждый гребец мог нести на плече свой челнок на волоках и на перешейках. Мы шли за добычей, и потому с нами не было запаса. Только немного сушеной рыбы, по три пластины на брата. С нами не было ни ружей, ни пороха, ни дроби. Одни старые сетья и легкие птичьи копья, с тройной головой и зазубренным жалом,—странные копья, которые надо метать навесно с особой доски. Десять тысяч лет назад, в ледниковый период, люди каменного века на Роне и Лауре метали такие же копья в такую же линялую птицу. Мы тоже были, как люди каменного века: хищные охотники—ловцы. Высшая наша похвальба была: „Я тела не жалею, гоню за живым во всю силу“.

Справа и слева лежала плоская тундра.^f На ней не росло ничего, кроме мха. В разложьях, с южной стороны, пряталась недрость ивы, мягкая, слово игрушечная, зеленая с

бурым. Топкая „гусиная травка“ сбегала к берегам.

У края воды тянулась сплошная кайма животных остатков. Старые перья, помет, местами клочья оленьей шерсти. Так много здесь ютилось гусей, лебедей, оленей.

С левой стороны местами выбегала Едома, узкий кряж сурового камня, темный, нагой, весь в столбах и навесах, под'еденных ветром и стужей. Она была брошена среди плоского болота, бог знает зачем, как длинная гребенка. И на повороте лесного плеса из бурых утесов вылетал коричневый челнок и с криком кружился над собаками, и гнал их прочь от своего гнезда.

И на другом повороте попадалась гусиная стайка, два-три выводка, большие, полувзрослые. Гребцы ходили в погоню, и двухсторонние весла гнулись, и челноки мчались так быстро, что в глазах рябило.

Гуси с криком уплывали и бежали по воде, хлопая бесперыми крыльями, и старались отныряться.

Васька Дауров, казак, маленький, злой и удалый, выгребал впереди всех и, улучив минуту, метал свое копые в самую гущу стада. Копье шло по шеям и нанизывало на свои растопыренные зубья одного гуся, потом другого, потом третьего. Гуси ныряли

и уводили копые вниз, до самой пятки древка, как рыба уводит уду; потом уставали и выходили наружу, слепо, не глядя, часто попадая головой под самое дно челнока.

И вся остальная птица пугалась и поднимала крик, ныряла и убегала. Крохали и ггары и черные турпаны, и белобоки, и шилохвосты, и лутки и всякие другие утки. И вертливые савки с плачем проплывали мимо, отдаваясь волне, и громко выкликали свое неизменное: а-ангы, а-ангы!

Светло-пушистые гусенята, жирные и глупые, уже наполовину в перьях, спасались к берегу и прятались в траве, но подавали о себе весть тревожным клыканьем: клы, клы, клы!

Старые гуси с темной спиной прибивались к мысочкам и, положив голову на песок, вытягивали узкую гузку на изрез воды и вдруг исчезали из глаз, сливаясь с изгибом берега. Их серые перья темнели, как серая земля, и шея круглилась, как бурый сучок сплавного дерева, случайно прибитый к песку. Они лежали недвижно, как камни. Можно было подойти вплотную и ступить ногой, но они не шевелились и только в последнюю минуту вырывались из-под самой подошвы и убегали с криком.

На обеденной стоянке мы палили на углах гусиные крылья и жадно сосали нежный

мозг из костных трубок. Наполняли котлы доверху темным и душистым мясом. Головы и лапы мы бросали собакам, но собаки их не ели. В летнее время собака не принимает подачек из рук человека. Она охотится рядом с ним, как вольная союзница, и сама берет в поле свою часть из замордованной добычи.

Мы ночевали на грудях наносного леса. Они лежали холмами на версту и на две. Их принесли весенние разливы океана, оставили на тундре и схлынули назад. В этих грудях попадались американские сосны, японский бамбук, занесенный течением из Великого океана сквозь ворота Берингова пролива, обломки кораблей, разбитые бочонки, доски, даже окна и двери разрушенных домов, неведомо откуда.

Мы выбирали местечко погуще и повыше и залезали снизу, как в глубокую пещеру, топили свой огонь среди мокрых бревен, без мысли о пожаре, сушили одежду и располагались, как в доме.

Ребята смеялись на ночлегах и ласково ругались по-русски.

— Обернись, братец, назад, не горит ли у тебя зад?

— Мотри, парень. Дерну, так блюнешь.

— А я что, безрукий?

— Зараза, зараза собачья.

— Чтоб ты живой изгнил. Чтоб тебя из дому на полотне вынесли.

Потом ребята садились к огню и принимались рассказывать несложные сказки, Чаще всего по поводу птичьей охоты:

„У старого князца сватался Лампурга за единственную дочь.

— Наколи три пуда мерзлого мозга из лебединых крыльев.

В первый год пошел Лампурга за лебедями, набрал один пуд лебединого мозга.

На другой год Лампурга набрал еще один пуд мозга.

На третий год набрал третий пуд мозга.

Таков был Лампурга, удалый охотник“.

Старшие спали, закрывшись вместо одеяла полами кожаной палатки. И часто в то время, когда на юге бывает полночь, мы снимались с места и уходили дальше, ибо над нами не было ни ночи, ни полночи. Стоял сплошной день, трехмесячный летний день полярного края, серый, сырой, туманный, с дождем и с изморозью.

В сердце тундры лежит озеро Кулига. Оно похоже по форме на морскую звезду. Во все стороны оно протянуло длинные и узкие лучи. Каждый луч кончается речкой и уходит вдаль.

На этом озере западают гуси многотысячными пластами.

В сером тумане мы разбили стаю у озера Кулиги, но не зажгли огня, чтобы не спугнуть добычи, ибо гуси всегда настороже, и на каждом мысу стоит часовой в серых перьях и чутко слушает.

Мы не стали мешкать, сложили свои вещи под опрокинутые лодки, потом бросили в воду несколько зерен табаку на жертву водяному и стали со всех сторон обходить Кулигу. Мы разбились порознь. Медленно и неслышно ползли, прилегая к земле и таща за собой челноки. Собаки ползли рядом с нами. Время от времени они поднимали головы и втягивали носом воздух, и горящими глазами смотрели вперед по направлению к озеру. Рядом со мной полз Мишка Ребров, без шапки, с голыми руками, ловко изгибая по кочкам свое массивное тело. Он тоже поднимал голову и шутя взывал, обращаясь в пространство:

— Ну, дьволы мои, помогайте!

Мишка Ребров не верил ни в чох, ни в сон, ни в бога, ни в дьявола. Он насмеялся над шаманами и не носил даже амулетов, к ужасу своей матери и всех соседей.

— Как может такая маленькая деревянная заковырка помочь такому человеку, большо-

му, головастому?—спрашивал Мишка с на-
смешкой.

В одно только верил Мишка—в свой нож
стальной и в длинное весло, и в легкое ле-
тучее копьё.

— Поперед меня никто не устрелит,—хва-
стал Мишка.—Зуек сидит на берегу, я и
в того попаду, никогда мимо не стрелю.

Мишка не имел своего хозяйства, ни же-
ны, ни семьи, только „жальчиночку“ Феню.
Жальчиночка Феня жалела его, обшивала и
дарила табачным кisetом.

В рыбное время Мишка ходил батраком
у купца Кошелева.

— Любо ходить у купца за рыбным про-
мыслом,—говаривал Мишка.—У купца все
крепкое, двойное, запасное, есть чем про-
мышлять. На душе весело. А у нас дома все
худое, скудное, из рук валится, и поднять
неохота...

Когда мы поползли к озеру, то вскочили
на ноги, ухнули и бросились к воде. Перед
нами у берега была стая гусей, штук в три-
ста. Они уплывали на середину, широко за-
гребая воду своими красными „веслами“. Еще
стая выплывала слева и еще одна справа.
Далеко впереди была темная пластина боль-
шого стада. Эти гуси торопились изо всех
сил на дальний конец озера, где еще не бы-

ло нашей охраны. Две собаки, белая сука Белуха и черный Ворон, бежали по берегу, стараясь обогнать гусей. Сзади бежал Федя Киричонок, хлопая по мокрому болоту своими замшевыми обувками, тонкими, как чулки.

Мы опять вздохнули все сразу, на разные голоса:

— Наддай, наддай!

От быстроты загонщиков зависел успех нашей первой большой охоты. Шлепая в лужах по колено и разбрызгивая воду, Федя стал наддавать. Он весь вытянулся, как тонкая стрела, и догнал собак. Потом обогнал их и стал утягивать дорогу. Всех обогнал Киричонок в это росистое утро—людей, собак и гусей—и отбил большое стадо обратно на открытую воду. Наши челноки уже были на озере. Они об'езжали птицу издали, круг за кругом, чтобы сгрудить ее вместе. Весла мелькали и гнулись, и челноки зарывались носом и прыгали вперед, как будто живые.

На середине озера колыхалось широкое темное пятно. То были гуси. Их было .тысячи три или больше. Они жались все теснее и теснее и непрерывно клыкали: клы, клы, клы! А в утесах налево отдавалось: ду, ду, ду! Порой более дерзкий гусь вырывался

из подвижного круга и пускался к берегу, изо всей силы ковыляя тяжелым темным телом. Следом пускался челнок, и летело копье, и нанизывало беглеца на свой развилыстый вертел. И другие гуси, которые сторожили сзади, готовясь последовать удачному примеру, в испуге бросались назад в общую гушу.

— Клы, клы, клы!, кричали гуси.

— Ду, ду, ду! — отвечал Едома.

Целый день мы продержали гусей на воде в страхе и голоде, и когда белый иней упал с светлого неба на мокрую траву в знак новой ночи, гуси усмирились и стали послушны каждому взмаху копья. Их манила суша и сочная травка, и они были готовы идти всюду, куда мы укажем. Тогда мы выбрали чистое место с нагорной стороны и начали строить невод. Мы натаскали кольев и стали втыкать их в землю, через каждый полсажени, выводя две широкие раскрытые дуги. То были крылья невода. Они сходились вместе, образуя мотню. Мотня состояла из длинных жердей, врытых вплотную и перевязанных веревкой. Крылья невода мы обтянули сетями, тщательно притыкая их колышками к земле. Перед входом в мотню мы сделали порог, вышиной по грудь человеку. Мы положили на порог две длинные

сходни и накрыли их травой и дерном, чтобы гусям не было так страшно и зазорно.

Когда все было готово погнали гусей в невод. Они столпились у берега, потом один из передних ступил на траву, сорвал на ходу две или три былинки и пошел вверх. Все стадо вышло и пошло вслед за ним. И когда оно прошло, сзади него трава осталась, как выкошенная. Тогда мы подскочили и встали поперек невода и загородили широкое устье заранее припасенной сетью. Все стадо было в плену и в нашей власти.

Услышав за собой столько людей и собак, гуси шарахнулись вперед, набежали на узкий ход в мотню, зловещий и черный, и метнулись обратно.

Мы не спеша подвигались, держа перед собой сеть. Вся ширина невода кишела округлыми серыми телами. Тут были две гусиные породы: толстые гуменники и легконогие казарки. Казарка меньше, но ее мясо вкуснее. У ней красный нос и брюхо в черных пятнах. Она плодится быстрее и потому попадаетея чаще.

Гуси перекатывались из стороны в сторону и переливались как вода. Многие поворачивали головы и глядели нам в глаза, и мы глядели в глаза пойманным птицам, еще

живым и полным сил, еще не убитым. В их маленьких острых глазках сверкал дикий страх или дикая ярость, ибо ярость и страх — это одно и то же чувство, две стороны того же рельефа. Ярость — выпуклая сторона, а страх — вогнутая сторона. Оба чувства бывают в душе лишь поочередно: ярость сжигает страх; страх заливает ярость. Оттого дикий гусь и дикая пантера глядят на врага-человека одинаково быстрым и острым взглядом.

Мы подвигались вперед, стараясь загнать гусей в мотню, но гуси не шли. Они теснились перед под'емом на с'ходни и громоздились друг на друга в двадцать ярусов, как холм живого птичьего мяса.

Порою, в майские дни, на тундре, когда первая птица уже пролетела, вдруг придет пурга и снова заморозит землю. Тогда целыи стаи гусей погибают от холода и голода. Перед смертью они сбиваются в серый бугор на плоском болоте. В этом бугре нет ничего, кроме перьев, сухой кожи и тонких костей, неплотных, как труха. Дунет ветер и разметет кругом и перья, и мерзлую труху.

Задние ряды гусей продолжали метаться. Крупные гусенята кружились на одном месте, как пьяные. Старые казарки с криком

набегали на крылья невода, рвали когтями сети и напирали грудью, стараясь прорваться наружу.

Иные, обезумев, бросались прямо на нас, взлетали к нам на грудь и били крыльями в лицо, сражаясь до самой смерти.

Среди бескрылой птицы уже попадались способные летать. Одна за другой они поднимались вверх на новых крыльях и улетали прочь.

Впрочем, полет их был низок и неверен. Тело их шло стоямя в воздухе, ибо они не были в силах нести его горизонтально. И наши проворные ребята—Федя и Зиновий, и Ванька Чукчонок, и другой, Ванька-Ухват—поднимали вверх весла и сбивали летевших гусей, которые не имели силы отклониться в сторону. В одном месте, слева, гуси, наконец, прорвались и стали выжиматься наружу, друг за другом, как крупные серые капли. Белая сука тотчас обежала кругом и стала душить беглецов, одного, другого, третьего; задушила штук двадцать, потом подняла голову вверх и взвыла обессиленная.

В правом крыле тоже был прорыв. Надо было кончать скорее. Глаза у охотников горели, они больше не имели силы сдерживаться.

Васька Дауров схватил длинный шест и метнул в середину стаи. Пять или шесть птиц перевернулись брюхом вверх. Федя хватил вдоль по птице веслом.

Гуси заметались пуще прежнего, и пошла потеха.

Шесть человек, самых проворных, носились по неводу взад и вперед и хватали птицу.

Они свертывали ей шею или на ходу отгрызали зубами голову, или переедали горло, тоже зубами, как собаки. Иные гуси, не заеденные до конца, вырывались из рук и снова ныряли внутрь стаи. Их шея была украшена красным галстуком, и гусиные волны расступались перед ними от страха и от запаха крови.

Самые резвые птицы то-и-дело прорывались наружу, но в ужасе своем не видели куда бежать, и иногда попадали обратно в невод.

Иная, потеряв голову, с криком шагала по берегу. Другая мчалась во весь опор, спотыкалась, натыкалась на коряги и убивалась до смерти.

Два летучих гуся поднялись от самого входа в мотню; один был побольше, другой поменьше, должно быть, самец и самка, или „мужичок“ и „женка“, как говорят на севере.



Крылатая чета описала большой круг в воздухе; потом „мужичок“ повернул обратно, „женка“ последовала сзади довольно неохотно.

Оба сели снова в гусиную гущу и скоро погибли в мотне вместе с другими. Братский инстинкт переселил жажду жизни и страх смерти.

Мотня быстро наполнилась птицей, сперва до половнины, потом доверху.

Она вся тряслась и гудела, как улей. Снизу неслись полузадушенные крики. Я на минуту закрыл глаза, и мне показалось, что это людская толпа бьется и давит друг друга, и стонет, погибая, ибо звери и птицы, и люди, даже в одиночку мало отличны друг от друга. Они одинаково рождаются, и любят и умирают.

Толпа людская и толпа звериная—это одно и то же.

Люди в горящем театре дерутся и грызутся, как крысы в западне.

Васька спустился в мотню и стал свертывать головы скопившейся птице. Минут через десять он вылез весь в лохмотьях с окровавленным лицом—его исцарапали гуси, защищаясь от гибели.

Дюжий Мишка Ребров взял короткую дубину и полез на смену.

Он с силой топтал птиц ногами и молотил их сверху вниз тяжелым и твердым деревом.

Когда все было кончено, мы разобрали мотню и невод и стали считать убитую птицу, складывая каждую сотню особо. Всего было убито двадцать семь сотен слишком.

В пяти верстах от озера Кулиги, вниз по реке, была пустая „поварня“, старый сарай, куда мы могли временно сложить свою добычу.

Мы нагрузили лодки до самого верха, а остатки зарыли и собирались уехать вниз к „поварне“.

После туманной недели наконец облака стали реже, и вышло солнце светложелтое, сонное, как-будто усталое от серой бессонницы, которая на северной тундре называется летом.

В воздухе стало теплее. Комары затолкались на припеке. Гребцы сняли свои меховые рубахи, сели на места и взялись за весла.

Я должен был грести во второй смене. И в ожидании очереди я уселся прямо на груды мертвых птиц, заваливших лодку. Она опустилась подо мной гибко и упруго, как на рессорах из китового уса, и тотчас же с самого низу что-то застонало страшным,

глухим, точно посмертным стоном. Это недобитые птицы, полузадушенные в мотне, оживали в общей груди и опять умирали.

И как бы в ответ этому стою, Мишка Ребров, сидевший на переднем месте, ударил веслами и выгреб на вольную воду, потом откинул голову назад и тонким фальцетом запел „андыщину“, странную любовную песню русского племени у берегов полярного моря, полуимпровизированную, дикую и сладкую; как запах княженики, созревшей на солнцепеке у подножия бурых утесов Едомы.

Он пел о своей жальчиночке Фене, называл ее смугляночкой, уточкой, птаней и другими нежными именами.

Да не гонялся я, Мишаночка, за твоей ненаглядной красой,
Да гонялся я, Иванович, за твоей за русой косой.

Да в зимню пору долгим плесом на рысах я, парень,
хлестко выбегал.

Да в летню пору мелку росу хватал по вершиночкам
лесным.

Да в осеннюю темну ночку с Феней до бела света я, парень,
не сыпал.

Да тешил, нежил я жальчиночку на своей белой груди,
как дитю.

Да показалась нам темна ночка всего за минуточку
за одну.

Песня лилась и росла, и уходила вверх и таяла вдаль, и казалось, ей нет конца, как этой реке, гладкой и тихой, отсвечива-

ющей на солнце прозрачно-зелеными искрами и плавно текущей вперед.

И в этой песне был ответ жизни, вечно торжествующей, хищной, беспечной и упительной, на глухой голос смерти, побежденный и задушенный под горами битого мяса в последних каплях теплой крови, истекающей наружу.

С.-Петербург, 1909 г.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|-------------------|----|
| На лося | 3 |
| Лебеди | 24 |
| Гуси | 43 |